

В.В. Мароши

**«РУССКИЙ ШТЫК» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ XVIII – XX ВВ.:
МАГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ИМПЕРИИ**

На материале контекстов русской поэзии и прозы конца XVIII – середины XX в. прослеживается становление штыка как метафоры имперского и национального мифа. Несмотря на порой радикальные изменения политического строя с 1785 по 1945 гг., он оставался одним из важнейших национально-государственных символов России и ее военной мощи. Во второй половине XIX в. и начале XX в. смысл этой метафоры сместился в сторону обозначения инструмента репрессивного подавления внутри страны.

Ключевые слова: *штык, русский, метафора, символ, империя, миф*

Цель статьи – исследовать символику одного из важнейших неофициальных имперских символов России – русского штыка. Он, безусловно, занял и продолжает занимать существенное место в воображении русского человека, в мифотворческом измерении русской и советской культур, где есть место и «русской тройке», и «березкам», и «калашникову», и Т-34 и т.д. Общеизвестно, что штык стал не только простой метонимией солдата-пехотинца, но и метафорой всей русской армии. Л.Н. Третьякова [1. С. 259] выделила два основных смысла этой метафоры, мы рискнем добавить к ним третий: 1) престиж русской и Красной армии; 2) величие и сила Российской империи; 3) смелость, решительность и презрение к смерти русского мужчины. На протяжении достаточно долгого исторического периода – с 1785 по 1945 г. – штык оставался одной из важнейших национально-государственных метафор, несмотря на радикальное изменение политического строя и переменчивость отношения власти к титульной нации.

Дело было, конечно, не в самом штыке, а в том, кто его применял. Сам тип русского граненого штыка не был специфически «русским»,

он получил распространение в большинстве европейских армий и до середины XIX в. не претерпел сколько-нибудь серьезных изменений. В России в конце XVIII – начале XIX в. сложилась «суворовская» выучка штыкового боя, основанная не столько на обучении владением штыка, сколько на воспитании морально-психологических качеств русского солдата. Во второй половине XVIII в. дальность стрельбы из гладкоствольных мушкетов и сложность их заряжания объективно привели к возрастанию роли ближнего контактного боя, рукопашной схватки. Сложным приемам фехтования на штыках в русской армии в то время не обучали: «В большинстве случаев одетые в мундиры русские мужики действовали фузеей, как рогатиной или вилами. Именно тогда начал формироваться русский стиль штыкового боя, который позже так поражал врагов» [2. С. 27]. Автор известного исторического романа здесь явно опередил разыскания историков: «Но солдаты перегнали его, и он напрасно искал – на кого наскочить со шпагой... Видел только широкие спины преображенцев, работающих штыками, как вилами – по-мужицки...» [3. С. 817]. Суворовская традиция быстрого сближения с противником до дистанции штыкового боя и крайняя простота приемов оказались эффективны в XIX в. в войнах с плохо организованным противником, турками и кавказцами.

Даже после неудач русской армии в Крымской войне, связанных в том числе со слабой огневой мощью, генерал-теоретик М.И. Драгомиров и его сторонники продолжали отстаивать значимость штыковой атаки, защищая как суворовскую традицию, так и, как им представлялось, нравственно-психологическую установку на «самоотвержение», жертвенность русского солдата во имя высших ценностей (товарищество, Родина, Царь, вера). В «Философии войны» (1939) А. Керсновского, подытоживающей опыт войн русской армии и русской военной мысли, штык тоже отнесен к сфере морального превосходства армии и государства над противниками, а русскому граненому штыку приписывалось особое «магическое обаяние» (читай – мифическое):

Штык – выразитель удара.

Штык – характеризует победу. На огне жидется материальное могущество армии.

На штыке – **моральное**.

Штык – ее престиж, более того – престиж государства.

Величайшая Империя держалась два столетия на **магическом** обаянии трех слов. И эти три слова были: **граненый русский штык** (здесь и далее в цитатах выделено мной. – *В.М.*) [4. С. 79].

Култ Суворова и миф русского штыка формировались в русской поэзии в одно и то же время, поддерживая друг друга. Мифический суворовский «чудо-богатырь», русский солдат, поэтизированный в фольклорном духе самим полководцем в «Науке побеждать» (1795), нашел продолжение прежде всего в патриотической поэзии 1830-х гг.: «Иль старый **богатырь**, покойный на постеле, // Не в силах завинтить свой **измаильский штык?**» [5. С. 500]; «Богатыри – не вы <...> Не смеют, что ли, командиры // Чужие изорвать мундиры // О **русские штыки?** <...> «Кто кивер чистил весь избитый, Кто **штык** точил, ворча сердито, Кусая длинный ус <...> Изведал враг в тот день немало, // Что значит **русский бой удалый**, // Наш рукопашный бой!.. <...> **Богатыри** – не вы» [6. С. 153–156].

Богатырская удаля суворовского солдата с размахом воплощается и в сказовой речи персонажей-солдат из русской батальной прозы 1830–1840-х гг.: «Эх, старость, старость! Как бы прежние годы, так я бы трех поджарых французов **на один штык посадил**. Небось турки их дюжее, да и тех, бывало, **как примусь нанизывать**, так господи боже мой! считать не успевают. Вот как мы с батюшкой, графом Суворовым, **штурмовали Измаил...**» [7. С. 271]; «Куда как мне хотелось поработать штыком... повидать чужой стороны, отведать духа басурманского, чем пахнет штык, когда свалишь им **полдюжины**» [8. С. 27]; «И нам, грешным, эти сухопарые французики не очень казались тяжелы, а у него они **на штыке** так и пляшут вприсядку» [9. С. 169].

Гиперболизация владеющего штыком русского богатыря после 1812 г. в батальной прозе связывается с мотивом национального превосходства: «Ох! Была тут потеха – натешилась душа! Чего трахать казенные патроны! Ближе к долу – прямо через загорожу да штыком... Сробеет! Ведь не русский!» [8. С. 45]; «Слава наша всегда, во всех концах Земли, гремела под луною, и русский в поле **штыком писал врагу законы**» [9. С. 225]; «...и расцеловал молодца, как влюбленная невеста красавца жениха; да уж не вытерпел, поцеловал кстати и штык, которым он работал. Вот вещь драгоценная! Жизнь

свою прозакладую, **что штык выдумал человек, у которого натура была русская**» [9. С. 178]; «...настоящий солдат, каких желал Наполеон, чтобы опрокинуть вверх дном весь свет; правду сказать, **русский штык** стоит Архимедова рычага» [10. С. 332].

Процесс смены риторических средств, когда условное античное оружие (меч, щит, копьё и пр.) в русской батальной лирике второй половины XVIII в. стало заменяться более актуальными и конкретными образами, растянулся на долгий срок, вплоть до 1840-х гг. Штык как одно из главных орудий победы над турками «Россов» появился еще в одах В.П. Петрова 1770-х гг.: «Ружью себя тут Россы веря // И силы меткия руки, // Как ловчие напорна зверя // Приемлют Турка на **штыки**» [11. Ч. 2. С. 92]; раньше, чем Державин, его использовал его друг В.В. Капнист («Подражание Горациевой оде. Кн. II, ода XVI» 1780–1785): «И росс, рожденный на снегах, // Кому на Тавр с Кавказа шаг, // Чей **штык** сквозь Альпы проникает» [12. С. 148–150] и, наконец, Н.П. Николев в «гудошной песне» на взятие Очакова: «Все настали непогоды, // Русский в путь идет **с штыком**. <...> **Штык ужасный!** ты готовишь // В ратном поле чудеса» [13. С. 45]; «Где девалась нова Троя? // **На штыке** у русака!» [13. С. 51].

В «Песне лирической Россу по взятии Измаила (1791) Г.Р. Державина на первый план вышла мессианская роль русского этноса, всепобеждающих и неустрашимых «Россов». В изображении решающего штурма города впервые в русской поэзии акцентирована роль граненого штыка как главного национального оружия: «Се вид, как вошел в Измаил росс! // Вошел! «Не бойся», – рек, и всюды // Простер свой **троегранный штык...**» [14. С. 158]. Движение штурмующих Измаил колонн в оде преобразуется в путь Росса-исполина в истории: «Идут в молчании глубоко, // Во мрачной страшной тишине» [14. С. 157]; «...Пошел – и кто возмог против? // От шлема молнии скользили, // И океаны уступили, // Стопам его пути открыв. // Он сильны орды пхнул ногою: // Края Азийски потряслись, // Упали царства под рукою» [14. С. 161]. Более того, в рукописном варианте сочинений Державина стихотворение предварялось аллегорической иллюстрацией А.Н. Оленина (см. в издании Я. Грота [15. С. 341]), изображавшей русского гренадера со штыком, который повалил Геркулесовы столпы – пределы обитаемого мира в мифологической традиции – и явно собирается идти еще дальше. Подвиги русского

Геракла со штыком вместо палицы в этой оде – это выполнение глобальной миссии Героя, который спасет европейский мир, освободит Святую землю и Константинополь от темных сил хаоса.

Идеологический имперский миф о непобедимом и всемогущем русском штыке существовал прежде всего для внутреннего употребления. Европейские современники после победы в войнах с Наполеоном в лучшем случае признавали помимо стойкости русского солдата и его навыки штыкового боя. Так, в обзоре трудов Р. Вилсона, посвященных русской армии, содержалось снисходительное признание того, что умение вести бой штыками русских вполне сопоставимо с английским, и только позиционное мастерство Бонапарта позволяло его избегать в войне с Россией: «With respect to the second military quality, – that of the use of **the bayonet**, the Russians and English are on a par, and exceed every other nation on the globe» [16. Р. 201]. В патриотическом стихотворении К.К. Павловой «Разговор в Кремле» (1854), написанном в разгар Крымской войны, гордый английский лорд тоже с явной неохотой признает репутацию русской власти и армии как следствие успехов «штыка»: «Да, – говорил в своей гордыне // Угрюмый лорд, – ваш край велик, // Окрепла ваша власть, и ныне // Известен в мире **русский штык**» [17. С. 14].

Своего апофеоза мифологизация русского штыка в русской поэзии и прозе достигнет не в 1812–1814 гг., как можно было бы ожидать, а значительно позже – в начале 1830-х гг. Польское восстание 1830–1831 гг. привело к идеологическому противостоянию России и Франции, что напоминало о недавней войне. Отставив эстетические разногласия в сторону, русские поэты ответили на это патриотическим подъемом, придя на помощь империи. Уже в «Старой песне на новый лад» («Русская песня на взятие Варшавы») В.А. Жуковского, опубликованной в 1831 г., штык помогает русским преодолеть любые препятствия: «Что нам ваши палисады! // Здесь не нужно лестниц нам! // Мы **штыки** вонзим в ограды // И взберемся **по штыкам**» [18. С. 282]. В перечислении наиболее славных вех русской военной истории в «Народной песне» и «Многолетии» (1834) того же автора словосочетание «русский штык» использовано как метафорическая перифраза русской армии с одинаковой рифмой «штык – Рымник»: «День Полтавы – праздник славы; // Измаил, Кагул, Рымник; // Бой Московский; взрыв Кремлевский, // И в Париже **Русский штык**

[18. С. 295]; «С ней во дни Екатерины // Славен стал наш **Русский штык**, // И Кагульские дружины, // И Суворовский Рымник» [18. С. 296].

В «песнях» Жуковского сохранено одическое пространство империи и традиция стремления к Царьграду, переходящая в некую глобальную экспансию до границ обитаемого мира, как и во «Взятии Измаила» Державина: «Перешагнула <...> Балканов грань <...> Прогреми ж **до граней света ...**» [18. С. 296]; «За Балканом <...> И в ограду Царю-граду» [18. С. 295]. Как и у Державина, штык в качестве метафоры армии становится почти волшебным средством этого расширения и ответом на внешние угрозы. В уже цитировавшейся инвективе Пушкина «Клеветникам России» (1831) все имперское географическое пространство покрывается штыками: «...от Перми до Тавриды, <...> от потрясенного Кремля // До стен недвижимого Китая» // **Стальной щетиною сверкая**, // Не встанет русская земля?» [5. С. 500]. В изобразительной риторике тогдашней европейской батальной поэзии и прозы «сверкало» и «блистало» холодное оружие, прежде всего штыки (см., например, в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»); новым в этом «общем месте» стала именно тотальность «мобилизуемого».

Как это ни странно, в наиболее законченном виде литературный миф штыка предстал не в творчестве ведущих поэтов эпохи, а в опубликованном при жизни автора лишь в рукописном виде стихотворении П.П. Ершова «Русский штык»¹.

Здесь мы находим и знакомые нам по прозе И.Н. Скобелева мотивы русского воинского братства, в которое включает себя лирический герой («мы»), и аллюзии на «суворовские времена» (1786–1796), когда уставная прическа была отменена для большинства солдат:

Пьем – и весело, по-братски
 Прокричим обычный крик:
 «Здравствуй, наш товарищ хватский!
 Здравствуй, крепкий русский штык!»

Прочь с косами! Прочь с буклями!
 К черту пудренный парик!
 Дай нам водки с сухарями,

¹ См. об этом [19].

Дай нам крепкий русский штык!
Что нам в пудре? Что в помаде?
Русский бабиться не свык;
Мы красивы, мы в наряде,
Если с нами русский штык!

Для отечественного мифа типична уверенность во всесии и непобедимости русского штыка:

Пушки бьются до послета,
Штык кончает дело вмиг;
Там удача, там победа,
Где сверкает русский штык.

И с Суворовым штыками
Окрестили мы Рымник.
Ставь хоть горы над горами –
Проберется русский штык [20. С. 243]

В финале стихотворения штык окончательно превращается в магическое средство, дающее власть над миром:

Нет штыка на свете краше,
С ним не станем мы в тупик;
Все возьмем, все будет наше –
Был бы с нами русский штык! [20. С. 243]

Очевидно, что все исторические аллюзии относятся здесь к временам Суворова, эпохе зарождения мифа (Рымник, итальянский поход, переход через Альпы, неприхотливость самого полководца и его солдат). Ершов вывел штык в панхроничное пространство мифа: победы при помощи волшебного штыка связывают воедино великое прошлое, настоящее и многообещающее будущее. В гимне штыку проигнорированы все недавние актуальные события, связанные с Польским восстанием. Впрочем, и Жуковский, и Пушкин в патриотических стихах 1831 г. обращались тоже к суворовским победам и войне 1812 г. Отметим, что рифма Ершова «штык – Рымник» совпадает с созвучием из «Народной песни» Жуковского.

К концу 1830-х гг. миф о всепобеждающем и волшебном русском штыке стал, по-видимому, настолько официальным, что его попытал-

ся оспорить в стихотворении на перенесение праха Наполеона (1840) славянофил А.С. Хомяков. Языческому в своей основе культу оружия он противопоставил миссию всепримиряющего «русского креста»: «Пусть над перстью благородной // Громомещущей главы // Блещет саван зим холодный, // Пламя жаркое Москвы; // И не меч, не штык трехгранный, // А в венце полнощных звезд – // Усмиритель бури бранной – // Наша сила, русский крест!» [21. С. 77–78].

В преддверии и в начале Крымской войны русские поэты еще находились в обаянии мифа, т.е. единодушно были уверены в непобедимости и эффективности отечественного штыка. Ярким образчиком подобного иррефлективного патриотизма стало разошедшееся во множестве копий стихотворение ветерана войны 1812 г. Ф. Глинки «Ура!», построенное по знакомой нам схеме ретроспективно ориентированного перечисления триумфов русской армии:

Ура!... на трёх ударим разом,
 Не даром же **трехгранный штык!**
 Ура! отгрянет над Кавказом,
 В Европу грянет тот же клик!...
 <...>
 И видел, – что коня степного
 На Сену пить водил Калмык
 И в Тюльери у часового,
 Сиял, как дома, *Русский штык!*... [22. С. 3–7].

Напомним, что во время войны 1812–1814 гг. Глинка написал немало «песен», в двух из них («Авангардные песни» (1812–1813)) функциональную роль Суворова, ведущего «богатырей» в штыковой бой, сыграл Милорадович, у которого поэт служил адъютантом: «Стоять весь день богатырями // И кровь врагов, как воду, лить! <...> Пыль вьется, двинет враг с полками, // Но с нами вождь сердец – герой! // Он биться нам велит **штыками**, // **Штыками** крепок русский строй!» [23. С. 131]. Этот же герой у него способен выполнить завещанную Державиным глобальную экспансию русского штыка: «Милорадович где с нами, // Лавр повсюду там цветет; // С верой, с ним и **со штыками** // Русский строй **весь свет пройдет!**...» [24. С. 170].

Однако упования на штык в войне не с турками, а с наиболее хорошо вооруженными армиями Европы (хотя турки уже были вооружены современными европейскими винтовками) оказались напрас-

ными. Недостаточное оснащение нарезным дальнобойным оружием привело к тому, что противник поражал русских воинов на дальних дистанциях, не подпуская к себе. В подобной ситуации наиболее действенной могла быть только ночная штыковая атака, со всей присущей ей неразберихой. Именно про такую атаку в двойственном ракурсе – в чередовании изображения критически настроенного повествователя / восприятия юнкера Песта, «ребенка без твердых убеждений и правил» [25. С. 488], – рассказал Л.Н. Толстой в «Севастопольских рассказах». Кроме того, персональная точка зрения в повествовании новой психологической прозы была менее мифогенна, чем сказовая проза 1830-х гг. и патриотическая лирика, сохранившая интенцию одического лирического субъекта с его общенациональным возвышенным пафосом.

В изображении повествователя у Толстого комична и нелепа прежде всего фигура пьяного ротного командира, произносящего заученные фразы про «русский штык» и царя-батюшку:

Не лег только один командир второй роты, его невысокая фигура, с **вынутой шпагой**, которой он размахивал, не переставая говорить, двигалась перед ротой.

– Ребята! смотри, молодцами у меня! **С ружей не палить, а штыками их, каналов!** Когда я крикну «ура!» – за мной и не отставать... Дружней, главное дело... покажем себя, не ударим лицом в грязь, а, ребята? За царя, за батюшку! – говорил он, пересыпая свои слова ругательствами и ужасно размахивая руками.

– Как фамилия нашего ротного командира? – спросил Пест у юнкера, который лежал рядом с ним. – Какой он храбрый!

– Да, как в дело, всегда – мертвецки, – отвечал юнкер, – Лисинковский его фамилия.

<...>

– Бомбами пускать! сукин сын... Дай только добраться, тогда попробуешь **штыка трехгранного русского**, проклятый! – заговорил ротный командир так громко, что батальонный командир должен был приказать ему молчать и не шуметь так много [25. С. 474].

Толстой в своей военной прозе стал последовательным противником общей батальной риторики, считая ее чуждой русскому человеку, которому свойственна «скрытая теплота патриотизма».

В процессе описания атаки ракурс фокализации переходит к персонажу, и это стало новацией в изображении штыковой атаки, которая до этого в литературе описывалась прежде всего как слаженное и

целеустремленное групповое действие. В восприятии же юнкера, первый раз принимающего участие в штыковой атаке, она предстает в «остранении» ночной неразберихи, действия персонажа выглядят отчужденными от него самого, а состояние – близким к панике и потере ориентации в пространстве:

Вслед за этим первая рота встала, за ней вторая – приказано было взять ружья наперевес, и батальон пошел вперед. Пест был в таком страхе, что он решительно не помнил, долго ли? куда? и кто, на что? Он шел как пьяный. Но вдруг со всех сторон заблестело мильон огней, засвистело, затрещало что-то; он закричал и побежал куда-то, потому что все бежали и все кричали. Потом он спотыкнулся и упал на что-то – это был ротный командир (который был ранен впереди роты и, принимая юнкера за француза, схватил его за ногу). Потом, когда он вырвал ногу и поднялся, на него в темноте спиной наскочил какой-то человек и чуть опять не сбил с ног, другой человек кричал: «Коли его! что смотришь?» Кто-то взял ружье и воткнул штык во что-то мягкое. «Ah! Dieu!» – закричал кто-то страшным, пронзительным голосом, и тут только Пест понял, что он заколол француза.

Холодный пот выступил у него по всему телу, он затрясся, как в лихорадке, и бросил ружье. Но это продолжалось только одно мгновение; ему тотчас же пришло в голову, что он герой. Он схватил ружье и вместе с толпой, крича «ура», побежал прочь от убитого француза, с которого тут же солдат стал снимать сапоги [25. С. 474–475].

В батальной прозе Толстого девальвируется сложившаяся к этому времени риторика и героизация войны, эта «демифологизация» вбирает в себя и изображение русской штыковой атаки. Она преподалась «правдиво», т.е. так, как хотел показать ее писатель, сам принявший участие в одной из ночных вылазок под Евпаторией. Психологизация повествования разрушала сложившиеся нарративные клише «подвигов богатырей».

Эта тенденция продолжится и в прозе В.М. Гаршина, приобретшего на Русско-турецкой войне опыт простого солдата-добровольца. В своих письмах лета 1877 г. с театра военных действий он отмечает плотность и дальность стрельбы турок, скорострельность их винтовок, отличную обеспеченность боеприпасами: «Обмундировка турок, аммуниция и оружие – превосходны. Ружья Снайдера лучше наших Крика <...>. Заряжаются моментально. Кроме Снайдера и Пибоди у турок были еще “магазинные” ружья, из которых можно

выпустить без перерыва чуть ли не 20 пуль» [26. С. 136]; «Это-то хорошее оружие отчасти и было причиною турецкой неудачи. Имея огромное количество патронов и скорозаряжающиеся ружья, они не жалели патронов... тогда как наши солдаты стреляли редко да метко» [26. С. 136]; «Можете судить, какие у турок ружья; пули действительны на 1 1/2 версты!» [26. С. 139].

Осматривая поле сражения, Гаршин делает вывод, что, несмотря на большие физические размеры («огромные», «толстые») по сравнению с русскими солдатами, большинство турок убито именно в рукопашном бою: «Турки обезображены ужасно. Всё штыковые раны и прикладом. наших перестреляли тоже много» [26. С. 126]; «Убитые турки – рослые ребята, сытые и толстые. Раны на них жестокие: у одного четверть черепа снесено прикладом. Ружья их изогнуты дугою: так дрались наши! <...> Позиция неприступная; огонь турки открыли такой, что отдельных выстрелов не было слышно. И если бы не шли в штыки, то всех бы перебили» [26. С. 127]. Неудивительно, что генерал Драгомиров после этой войны остался «штыкопоклонником»: в бою с турками штык по-прежнему оставался эффективным.

В известном рассказе «Четыре дня» (1877) многие мотивы писем Гаршина нашли себе фабульное воплощение и портретную детализацию, прежде всего в физический контрасте между противниками, лучшей оснащенности «турка»-египтянина, его трусости в рукопашной схватке: «Он был **огромный толстый турок**, но я бежал прямо на него, хотя я **слаб и худ**. Что-то хлопнуло, что-то, как мне показалось; огромное пролетело мимо; в ушах зазвенело. “Это он в меня выстрелил”, – подумал я. А он с воплем ужаса прижался спиною к густому кусту боярышника. Можно было обойти куст, но от страха он не помнил ничего и лез на колючие ветви. Одним ударом я вышиб у него ружье, другим воткнул **куда-то** свой штык. **Что-то** не то зарычало, не то застонало» [27. С. 25]; «Около моего соседа лежит его ружье, **отличное английское произведение**. Стоит только протянуть руку; потом – один миг, и конец. **Патроны валяются тут же, кучею**. Он не успел выпустить всех» [27. С. 32]. В этой размытости изображения, мотивированной состоянием героя, очевидно использование приемов Толстого («куда-то», «что-то»). Новым стало введение рассказчиком точки зрения заколотого врага: «Но видя, что

мы, страшные люди, не боящиеся его патентованной английской винтовки Пибоди и Мартини, все лезем и лезем вперед, он пришел в ужас. Когда он хотел уйти, какой-то маленький человечек, которого он мог бы убить одним ударом своего черного кулака, подскочил и воткнул ему штык в сердце» [27. С. 31].

Однако убитый в рассказе оказывается не турком, к которым Гаршин испытывает в письмах вполне однозначные чувства, а насильно пригнанным египетским крестьянином, феллахом. И мучимый жаждой и физической болью рассказчик начинает задаваться типичными для русского интеллигента и совестливого писателя вопросом: «Передо мною лежит убитый мною человек. За что я его убил? Он лежит здесь мертвый, окровавленный. Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? <...> Как он счастлив: он не слышит ничего, не чувствует ни боли от ран, ни смертельной тоски, ни жажды... Штык вошел ему прямо в сердце... Вот на мундире большая черная дыра; вокруг нее кровь. *Это сделал я*» [27. С. 30]. Как и у Толстого, на первый план выходит один персонаж, но не наивный юнкер, а страдающий герой-рассказчик.

То, что в поэзии и прозе первой половины XIX в. было бы проявлением отваги героя и его умения владеть штыком в схватке с могучим противником, его подлинной «русскости», в рассказе Гаршина превратилось в некую нелепость и несправедливость победы Давида над Голиафом. Жестокий враг славян увиден «человеком», по непонятной причине убитым рассказчиком. Ситуация, которая могла бы стать подтверждением мифа о бесстрашном русском солдате, была переосмыслена в духе саморазрушительной рефлексии. Если у Толстого персонаж, опомнившись после боя, вошел в роль «хвастливого воина» и героя мифа о «русском штыке», то с рассказчиком Гаршина этого уже никогда не случится.

Штыковая атака будет активно применяться русской пехотой в Русско-японской войне, в «Красном смехе» (1904) Л. Андреева штык станет изобразительным средством уже экспрессионистской поэтики, но риторика именно «русского штыка» надолго перестала быть востребованной. Дело в том, что с конца 1870-х и до начала 1900-х гг. Россия не вела масштабных войн, проблема «штыка» перешла в сферу теоретических дискуссий русского офицерства. До начала Первой мировой войны штык стал в неофициальной отечественной литера-

туре метафорой репрессивного аппарата государства, инструментом подавления, обращенным не вовне, а внутрь империи. Так, рабочий Петр Алексеев в своей речи на процессе «50-ти» 10 марта 1877 г., которая широко распространилась в печатном и рукописном виде, утверждал, что «подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное **солдатскими штыками**, разлетится в прах!» [28. С. 46]. Решающую роль здесь сыграла все возрастающая роль в обществе русской интеллигенции, ее безусловно негативное отношение к власти. Особенно актуальной метафора станет во время революции 1905–1907 гг.: «Вы, палачи, властители земли, // Облекшиеся в пурпуры и злато! // Как вы посмели, как могли // Вонзить свой штык в трудящегося брата?» [29. С. 92]; «Шли на приступ. Прямо в грудь // Штык наточенный направлен» [30. С. 59]. В фельетоне Д.С. Мережковского (1906) об обыске на Башне Вяч. Иванова изображается групповой портрет вооруженных винтовками городских, которых автор отождествляет с солдатами. Всегда стремившийся к созданию интертекстуально насыщенных произведений, Мережковский вставил в него и иронически поданную цитату из стихотворения «Клеветникам России» Пушкина:

...входная дверь открылась без звонка, без звука – словно тоже магией, только не черною, а белую, – в дверь просунулся один штык, второй штык, третий штык, и мгновенно вся квартира наполнилась **«стальной щетиной»**, – городскими, понятиями, дворниками, сыщиками и еще какими-то невыразимо-темными личностями хулиганского облика.

<...> Вошли, окружили нас – штыки наперевес; начали обыск. <...> Самое фантастическое воплощение дьявола – человекообразная машина, автомат. Все эти добрые русские солдатики со штыками – такие автоматы [31. С. 3].

Еще дальше, но в рамках другого слоя литературы идет Горький, создавая гротескно-сатирический портрет русского царя: «Весь с головы до ног закованный в броню, подобно древнему рыцарю, он, как все властители народа в наши дни, сидел на троне из **штыков**. Но костюм его был слишком тяжёл, и трон не казался прочным. При неосторожных движениях царя **штыки** колебались, угрожая развалиться, и он неловко балансировал на них...» [32. С. 60].

С другой стороны, в самом начале Первой мировой войны А. Блок, автор уже процитированного нами выше стихотворения

«Шли на приступ. Прямо в грудь...» обозначил свое патриотическое настроение в сентябре 1914 г., опубликовав новое стихотворение в самой тиражной русской газете «Русское слово». Равновесие одического и элегического пафоса в нем выразилось и в одной из главных его метафор – военной «стали» Российской империи, расширяющей свой символический смысл до антропоморфного. Обновленная национально-государственная идентичность подчеркивалась и первым словом стихотворения – названием только что переименованного города: «Петроградское небо мutilось дождем, // На войну уходил эшелон. // Без конца – взвод за взводом и **штык за штыком** // Наполнял за вагоном вагон. <...> Это – ясная, твердая, верная сталь, // И нужна ли ей наша печаль?» [30. Т. 3. С. 276].

В советский период мотивика и метафорика штыка активно обновлялись в поэзии, прозе, изобразительном искусстве. Казалось, что это принципиально новые смыслы всемирной победы революции, мощи интернациональной Красной армии, жизнестроительной миссии поэзии («перо как штык»). Однако история распорядилась иначе: в самом начале Великой Отечественной войны, когда под вопрос было поставлено само существование в будущем русского этноса, пришлось вынимать из запасников старый миф о славе **русско-го штыка**. На знаменитом плакате И. Тоидзе «Родина-мать», изданном миллионными тиражами, Родина выступает в обличи суровой женщины, обрамленной штыками.

Впрочем, корректировка советской идентичности в сторону русской национальной началась еще до войны, в конце 1930-х гг., когда появились произведения, посвященные Суворову, Александру Невскому, Петру I и др. В начале войны штыковые атаки и рукопашная оставались одними из немногих компонентов боя, в которых Красная армия превосходили врага. Нельзя не отметить оперативность появления «новых старых» гимнов русскому штыку таких, например, как стихотворение И.П. Уткина «Слава русскому штыку!» (1941), в котором предлагался проверенный временем набор мотивов («Суворов / народ / русский штык»):

Сильна народная натура.
И знал у нас любой малец
Суворовское: пуля – дура,

А штык – известно! – молодец.
Но годы шли... Суровый, смелый
Народ наш многое постиг.
И пуля-дура... поумнела.
– А как же штык?
– А русский штык?

В атаках грозных и суровых
Советский доказал боец.
Что в этой части прав Суворов:
И штык всё так же... молодец! [33. С. 214–215].

Несмотря на то что использование штыка в современном бою относится к исключительным случаям, он по-прежнему зримо присутствует в ассоциативном поле отечественной культуры – прежде всего в визуально-пластическом виде – во множестве трех- и четырехгранных обелисков, установленных в городах и памятных местах России и Белоруссии в честь победы в Великой Отечественной войне. Авторы этих проектов, группируя штыки различным образом, совмещая их с парусом или знаменем, довольно вольно обращаются с исторической хронологией: так, четырехгранник к винтовке Мосина на некоторых памятниках заменен на трехгранный штык, использовавшийся в русской армии с XVIII в. до 1870–1890-х гг. Если это ошибка, то вполне симптоматичная: преемственность почти двухвекового оружия-символа по отношению к Советской армии периода Великой Отечественной не подлежит сомнению.

Литература

1. *Третьякова Л.Н.* Когнитивная структура концепта-символа «штык» в военной концептосфере // Проблемы истории, филологии, культуры. 2013. № 3 (41). С. 257–261.
2. *Леонов О.Г., Ульянов И.Э.* Регулярная пехота 1698–1801: Боевая летопись, организация, обмундирование, вооружение, снаряжение. М. : АСТ, 1995. 296 с.
3. *Толстой А.Н.* Собр. соч. : в 10 т. М. : Худож. лит., 1959–1961. Т. 7.
4. *Керсновский А.А.* Философия войны. 2-е изд., испр. и доп. М. : Изд-во Моск. Патриархии Русской Православной Церкви, 2013. 224 с.
5. *Пушкин А.С.* Сочинения : в 3 т. М. : Худож. лит., 1985–1987. Т. 1.
6. *Лермонтов М.Ю.* Сочинения : в 2 т. М. : Правда, 1988. Т. 1.
7. *Загоскин М.Н.* Рославлев, или русские в 1812 году. М. : Худож. лит., 1980. 392 с.

8. *Полевой Н.А.* Рассказы русского солдата // Русские повести XIX века (20–30-х годов) : в 2 т. М. ; Л. : ГИХЛ, 1950. Т. 2. С. 3–58.
9. *Скобелев И.Н.* Солдатская переписка 1812 года. Рассказы русского инвалида // 1812 год в воспоминаниях, переписке и рассказах современников. М. : Воениздат, 2001. С. 147–295.
10. *Бестужев-Марлинский А.А.* Кавказские повести. СПб. : Наука, 1995. 703 с.
11. [*Петров В.П.*] Сочинения В. Петрова : в 3 ч. СПб. : В Медицинской типографии, 1811.
12. *Капнист В.В.* Избранные произведения. Л. : Сов. писатель, 1973. 615 с.
13. *Николев Н.П.* Русские солдаты, гудошная песнь на случай взятия Очакова // Поэты XVIII века : в 2 т. Л. : Сов. писатель, 1972. Т. 2. С. 43–52.
14. *Державин Г.Р.* Стихотворения. Л. : Сов. писатель, 1957. 468 с.
15. [*Державин Г.Р.*] Сочинения Державина : в 9 т. СПб. : Издание Императорской Академии наук, 1864–1883. Т. 1.
16. *Wilson R.* Sir Robert Wilson's Works // Royal Military Chronicle: Or, British Officers Monthly Register and Mentor. 1812. Vol. 5, № 27. P. 194–208.
17. *Павлова К.К.* Разговор в Кремле: Стихотворение К. Павловой. СПб. : Тип. Я. Трея, 1854. 32 с.
18. *Жуковский В.А.* Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. М. : Языки русской культуры, 2000. Т. 2.
19. *Ратников К.В.* Стихотворение П.П. Ершова «Русский штык»: проблема датировки и литературного контекста // Ершовский сборник. Ишим : Ишим. гос. пед. ин-т им. П.П. Ершова, 2006. Вып. 3. С. 87–96.
20. *Ершов П.П.* Конек-Горбунок: Избранные произведения и письма. М. : Парад ; БИБИКОМ, 2005. 624 с.
21. *Хомяков А.С.* Стихотворения. СПб. : Тип. А.И. Мамонтова, 1868. 150 с.
22. *Глинка Ф.* Ура! СПб. : Типография Императорской Академии наук, 1854. 14 с.
23. *Глинка Ф.Н.* Избранные произведения. Л. : Сов. писатель, 1957. 502 с.
24. Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году. М. : Языки славянской культуры, 2015. 640 с.
25. *Толстой Л.Н.* Избранные произведения : в 3 т. М. ; Л. : ГИХЛ, 1950. Т. 1.
26. *Гаршин В.М.* Письма. М. ; Л. : Academia, 1934. 616 с.
27. *Гаршин В.М.* Сочинения. М. : Худож. лит., 1983. 413 с.
28. *Алексеев П.* Речь на суде рабочего революционера Петра Алексеева // Рабочее движение в России в XIX в. : сб. док. и материалов. Л. : Госполитиздат, 1950. Т. 2, ч. 1. С. 44–47.
29. *Богданов А.А.* Стихи. М. : ГИХЛ, 1936. 207 с.
30. *Блок А.А.* Собрание сочинений : в 8 т. М. ; Л. : Гослитиздат, 1960–1963.
31. *Мережковский Д.С.* Куда девалась моя шапка? (Новогоднее письмо к гр. Витте) // Киевские Отклики. 1906. № 5. С. 3.
32. *Горький А.М.* Собрание сочинений : в 18 т. М. : Гослитиздат, 1960–1963. Т. 4.
33. *Уткин И.* Стихотворения и поэмы. М. ; Л. : Сов. писатель, 1966. 390 с.

“The Russian Bayonet” in the Russian Literature of the 18th–20th Centuries: The Magic Weapon of the Empire

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2021, 16, pp. 225–243. DOI: 10.17223/24099554/16/14

Valerij V. Maroshi, Novosibirsk State Pedagogical University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: maroshi@mail.ru

Keywords: bayonet, Russian, metaphor, symbol, empire, myth.

The article deals with one of the most important unofficial imperial symbols of Russia – the Russian bayonet. For quite a long historical period, 1790–1945, the bayonet remained a metaphor for military, state, and national power. In the historical perspective, it had three main meanings: 1) the glory of the Russian Army, and then the Red Army; 2) the greatness and strength of the Russian Empire; 3) courage, determination, and the Russian man’s contempt for death. The cult of Suvorov and the myth of the Russian bayonet were formed in Russian poetry at the same time – at the end of the XVIII century, and they supported each other. Suvorov’s bayonet charge training remained relevant in the tactics and military theory of the Russian Army until the end of the 19th century. The idea of the mythical Suvorov’s “bogatyр”, a Russian soldier, was poeticized by the commander himself in *The Science of Victory* (1795) and was continued primarily in the patriotic poetry of the 1830s. The mythologization of the Russian bayonet in Russian poetry and battle prose reached its apotheosis in the early 1830s, at the time of Russia’s confrontation with Europe over the Polish Uprising. The literary myth of the bayonet is presented in its most complete form in Pyotr Yershov’s poem “The Russian Bayonet”. Patriotic lyrics with their collective lyrical subject and nationwide sublime pathos and the battle prose of the 1830s both played a decisive role in the creation of the myth. The hyperbolization of the Russian hero wielding the bayonet in the prose of the 1830s is usually linked with the motif of national superiority. The ideological imperial myth of the invincible and all-powerful Russian bayonet was used primarily within Russia itself. During the Crimean War, the poetical hope that the bayonet would help to win the war with the most well-armed armies in Europe was in vain. In addition, the destruction of the myth was influenced by the spread of the personal point of view in the psychological prose of Leo Tolstoy and Vsevolod Garshin. In Tolstoy’s battle prose, the war rhetoric and the valorization of war are devalued, this “demythologization” also includes an unusual description of the Russian bayonet charge. This trend continues in the prose of Garshin, who gained the experience of an ordinary volunteer soldier in the Russian-Turkish War. In the last third of the 19th century and before the beginning of the First World War, the bayonet in Russian unofficial literature became a metaphor for the repressive state apparatus. Nevertheless, at the beginning of the war, the suppressed national semantics of the bayonet was actualized again. The same thing happened at the very beginning of the Great Patriotic War when the very existence of Russians as an ethnic group was called

into question. Soviet poets once again turned to the myth of the all-conquering Suvorov's Russian bayonet.

References

1. Tret'yakova, L.N. (2013) The Cognitive Structure of the "Bayonet" in the Military Conceptosphere. *Problemy istorii, filologii, kul'tury – Journal of Historical, Philological and Cultural Studies*. 3 (41). pp. 257–261. (In Russian).
2. Leonov, O.G. & Ul'yanov, I.E. (1995) *Regulyarnaya pekhota 1698–1801: Boevaya letopis', organizatsiya, obmundirovanie, vooruzhenie, snaryazhenie* [Regular infantry, 1698–1801: Combat chronicle, organization, uniforms, weapons, equipment]. Moscow: AST.
3. Tolstoy, A.N. (1959–1961) *Sobr. soch.: v 10 t.* [Collected works: in 10 vols]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
4. Kersnovskiy, A.A. (2013) *Filosofiya voyny* [Philosophy of War]. 2nd ed. Moscow: Moscow Patriarchate of the Russian Orthodox Church.
5. Pushkin, A.S. (1985–1987) *Sochineniya: v 3 t.* [Works: in 3 volumes]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
6. Lermontov, M.Yu. (1988) *Sochineniya: v 2 t.* [Works: in 2 volumes]. Moscow: Pravda.
7. Zagoskin, M.N. (1980) *Roslavlev, ili russkie v 1812 godu* [Roslavlev, or Russians in 1812]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
8. Polevoy, N.A. (1950) Rasskazy russkogo soldata [Stories of a Russian soldier]. In: *Russkie povesti XIX veka (20–30-kh godov): v 2 t.* [Russian stories of the 19th century (1820s–1830s): in 2 volumes]. Vol. 2. Moscow; Leningrad: GIKhL. pp. 3–58.
9. Skobelev, I.N. (2001) Soldatskaya perepiska 1812 goda. Rasskazy russkogo invalida [Soldiers' correspondence in 1812. Stories of a Russian invalid]. In: Skobelev, I.N. et al. *1812 god v vospominaniyakh, perepiske i rasskazakh sovremennikov* [1812 in memoirs, correspondence and stories of contemporaries]. Moscow: Voenizdat. pp. 147–295.
10. Bestuzhev-Marlinskiy, A.A. (1995) *Kavkazskie povesti* [Caucasus stories]. St. Petersburg: Nauka.
11. [Petrov, V.P.] (1811) *Sochineniya V. Petrova: v 3-kh ch.* [Works of V. Petrov: in 3 parts]. St. Petersburg: V Meditsinskoy tipografii.
12. Kapnist, V.V. (1973) *Izbrannye proizvedeniya* [Selected works]. Leningrad: Sovetskiy pisatel'.
13. Nikolev, N.P. (1972) Russkie soldaty, gudoshnaya pesn' na sluchay vzyatiya Ochakova [Russian soldiers, a tooting song in case of the capture of Ochakov]. In: Makogonenko, G.P. & Serman, I.Z. (eds) *Poety XVIII veka: v 2 t.* [Poets of the 18th century: in 2 volumes]. Vol. 2. Leningrad: Sovetskiy pisatel'. pp. 43–52.
14. Derzhavin, G.R. (1957) *Stikhotvoreniya* [Poems]. Leningrad: Sovetskiy pisatel'.
15. [Derzhavin, G.R.] (1864–1883) *Sochineniya Derzhavina: v 9 t.* [Works of Derzhavin: in 9 volumes]. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences.

16. Wilson, R. (1812) Sir Robert Wilson's Works. *Royal Military Chronicle: Or, British Officers Monthly Register and Mentor*. 5 (27). pp. 194–208.
17. Pavlova, K.K. (1854) *Razgovor v Kremle: Stikhotvorenie K. Pavlovoiy* [A conversation in the Kremlin: Poem by K. Pavlova]. St. Petersburg: Tip. Ya. Treya.
18. Zhukovskiy, V.A. (2000) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 20 t.* [Complete works and letters: in 20 volumes]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
19. Ratnikov, K.V. (2006) Stikhotvorenie P.P. Ershova "Russkiy shtyk": problema datirovki i literaturnogo konteksta [P.P. Ershov's poem "The Russian Bayonet": the problem of dating and literary context]. In: *Ershovskiy sbornik* [Ershov collection]. Vol. 3. Ishim: Ishim State Pedagogical Institute. pp. 87–96.
20. Ershov, P.P. (2005) *Konek-Gorbunok: Izbrannye proizvedeniya i pis'ma* [The Little Humpbacked Horse: Selected Works and Letters]. Moscow: Parad; BIBIKOM.
21. Khomyakov, A.S. (1868) *Stikhotvoreniya* [Poems]. St. Petersburg: Tip. A.I. Mamontova.
22. Glinka, F. (1854) *Ura!* [Hurray!]. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences.
23. Glinka, F.N. (1957) *Izbrannye proizvedeniya* [Selected works]. Leningrad: Sovetskiy pisatel'.
24. Ayzikova, I.A. (ed.) (2015) *Sobranie stikhotvoreniy, odnosyashchikhysya k nezabvennomu 1812 godu* [Collection of poems related to the unforgettable year 1812]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
25. Tolstoy, L.N. (1950) *Izbrannye proizvedeniya: V 3-kh t.* [Selected works: In 3 volumes]. Moscow; Leningrad: GIKhL.
26. Garshin, V.M. (1934) *Pis'ma* [Letters]. Moscow; Leningrad: Academia.
27. Garshin, V.M. (1983) *Sochineniya* [Works]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
28. Alekseev, P. (1950) Rech' na sude rabocheho revolyutsionera Petra Alekseeva [Speech of the worker revolutionary Pyotr Alekseev at the trial]. In: *Rabochee dvizhenie v Rossii v XIX v. Sb. dokumentov i materialov* [Workers' movement in Russia in the 19th century. Documents and materials]. Vol. 2 (1). Leningrad: Gospolitizdat. pp. 44–47.
29. Bogdanov, A.A. (1936) *Stikhi* [Poems]. Moscow: GIKhL.
30. Blok, A.A. (1960–1963) *Sobranie sochineniy: v 8 t.* [Collected works: in 8 volumes]. Moscow; Leningrad: Goslitizdat.
31. Merezhkovskiy, D.S. (1906) Kuda devalas' moya shapka? (Novogodnee pis'mo k gr. Vitte) [Where did my hat go? (New Year's letter to Count Witte)]. *Kievskie Otkliki*. 5. p. 3.
32. Gor'kiy, A.M. (1960–1963) *Sobranie sochineniy: v 18 t.* [Collected works: in 18 volumes]. Moscow: Goslitizdat.
33. Utkin, I. (1966) *Stikhotvoreniya i poemy* [Verses and poems]. Moscow; Leningrad: Sovetskiy pisatel'.